



Валентин
КАШАЕВ

сухой
ЛХМАН

Валентин Петрович Катаев

Спящий

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=155344

Валентин Катаев «Сухой лиман»: Советский писатель; Москва; 1986

Аннотация

В книгу выдающегося советского писателя, Героя Социалистического Труда Валентина Катаева вошли произведения, в которых автор рассказывает о прожитом и пережитом: «Юношеский роман», «Сухой лиман», «Спящий», «Обоюдный старичок», «Кубик».

Валентин Катаев

Спящий

Ему снилась яхта. Она стояла с убранными парусами, потемневшими от предрассветной росы, возле причала яхт-клуба. Ее стройная мачта покачивалась, как метроном.

Спящий видел всю нашу компанию, которая гуськом, один за другим, балансируя пробиралась по ненадежной дощечке на сырую палубу.

В предрассветной темноте кое-где еще горели портовые фонари и виднелись топовые огни на мачтах пароходов.

Все это виделось так отчетливо, материально, что сон был мучителен. Спящий понимал, что он спит, но у него не хватало сил прервать сон и заставить себя проснуться – выплыть из неизмеримой глубины сновидения. Он сделал отчаянное усилие, чтобы разорвать сон, и ему даже показалось, что он проснулся. Но это был всего лишь сон во сне. Он видел себя на обочине знакомого ему тротуара возле привокзальной площади, заполненной австрийскими солдатами, только что высадившимися из воинского эшелона.

Город был сдан без боя, по какому-то мирному договору

или перемирию.

Жители города с любопытством смотрели на своих завоевателей в серо-зеленых мундирах и стальных касках. Тут же на привокзальной площади дымили походные кухни. Возле них повара в белых колпаках не спеша орудовали черпаками.

Больше всего горожан увлекало зрелище приготовления иностранными солдатами похлебки из фасоли с маргарином и тушеной свининой. Завоеватели совершенно не обращали внимания на горожан, разглядывавших иностранных солдат с любопытством, как редких животных.

Картина, в общем, была вполне мирная.

Скоро завоеватели пообедали, построились в колонны и были куда-то уведены с площади, а горожане рассеялись, и площадь опустела.

Так началась новая, странная жизнь в городе.

Опустевшая привокзальная площадь каким-то образом превратилась в игорный дом, куда вдруг ворвался налетчик с наганом в руке. Это был Ленька Грек. В его полудетском лице с короткими черными бровями, в его средиземноморской улыбке было несомненно нечто греческое. В порту его называли «грек Пиндос на паре колес».

Короткие кривоватые ноги в задрипанных брюках, кепка блином, неопределенного цвета куртка, застиранная тель-

няшка.

Его театральное появление в дверях с красными плюшевыми портьерами, обшитыми золотым позументом с кистями, придававшими залу оттенок если не кабаре, то, во всяком случае, публичного дома средней руки, вызвало оцепенение. Ленька Грек почему-то считал, что большинство игроков иностранцы, главным образом французы. Поэтому он заранее приготовил французскую фразу, которой его научил на яхте некто Манфред, образованный молодой человек. Фраза эта должна была представлять нечто вроде русского «соблюдайте спокойствие». Эта фраза, произнесенная Ленькой Греком якобы по-французски, но с ужасающим черноморским акцентом, ошеломила не только всех присутствующих, но даже и самого налетчика, пораженного собственной наглостью, когда он с усилием выдавил из себя хриплым голосом: «Суаэ транкиль!» Сначала все окаменели. Но потом что-то произошло непредвиденное. Один из игроков рассмеялся, и налет не получился.

Не успел Ленька Грек подойти к зеленому столу и хапнуть кучку золотых десятков царской чеканки, как кто-то неожиданно вырвал у него из рук наган и дал ему крепко по шее.

Это было естественно: все поняли, что налетчик одиночка, работает без товарищей и справиться с ним нетрудно.

– Что ж вы деретесь! – плаксиво, с обидой в голосе проныл

Ленька Грек и, вырвавшись из чьих-то рук в твердых крахмальных манжетах с золотыми запонками, кинулся вперед, опрокинул стол и, отбиваясь руками и ногами, бросился вон из зала. И как раз вовремя: уже послышались свистки Державной Варты.

Сильно потрепанный, он выскочил на улицу, юркнул в переулок, добрался через несколько проходных дворов до городского сквера, пустынного в этот ночной час, и, как ящерица, скрылся в щели между стеной оперного театра и кафе-кондитерской, известной своими меренгами со взбитыми сливками и пуншем гляссе с настоящим ямайским ромом «Голова негра».

Тем временем в помещении игорного дома два лакея в лифвах, взятых напрокат в костюмерной театра оперетты, ползали по ковру, подбирая золотые десятки и заграничную валюту, а также бумажные карбованцы с красивым парубком, подстриженным под горшок.

И вдруг все это пришло в порядок и накрылось длинной морской волной с косо летящим надутым парусом яхты, на палубе которой разместилась вся молодая компания, в том числе, как это ни странно, Ленька Грек: его частенько прихватывали в качестве матроса.

Яхта круто огибала маяк, имевший форму удлиненного колокола, где на кронштейне висел уже настоящий неболь-

шой сигнальный колокол. Сверху вниз по белому туловищу маяка тянулся ряд иллюминаторов, так что маяк снился в виде господина в однобортном пальто, застегнутом на все пуговицы. Чайки летали вокруг его хрустальной шляпы.

Чем дальше от берега, тем море становилось малахитовее, более, так сказать, «айвазовское».

Боже мой, какое это было блаженство!

«Нелюдимо наше море, – звучал сильный голос Манфреда, перекрывая посвистывающий в вантах ветерок, особенно заметный в минуты крена, когда мачта склонялась и длинный бушприт с треугольником вздувшегося кливера возносился над гребнями волн, с которых ветер срывал пену, бросая брызги в лицо певца, продолжающего свой поединок с бризом, – день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено!»

Спящий знал, что в роковом просторе погребено не только много бед, но также и тайн. Кроме того, море не было нелюдимо. В открытом море виднелись два удаляющихся пассажирских парохода: один – дымивший на горизонте, а другой – только что вышедший за пенную полосу брекватера.

Пароходы увозили кого-то подобру-поздорову из обреченного города.

Значит, море было уж не столь нелюдимым, если счи-

тать, что, кроме яхты, еще дальше, за горизонтом, угадывалась тень французского броненосца «Эрнест Ренан», а может быть, и английского дредноута «Карадог».

Кроме того, море не шумело день и ночь. Иногда оно отдыхало. Тогда его простор не казался роковым. Но все равно спящего тревожило, что где-то в глубине «много бед погребено». Много бед и много тайн.

Солнечные лучи уходили в пучину, озаряя постепенно убывающим светом бутылочно-зеленую воду и киль яхты, от которого шарахались стайки рыбешек.

Подводное течение медленно несло оторванный куст водорослей, еще более темно-зеленых, чем вода. Шарообразный куст водорослей.

Беды и тайны угадывались в темной глубине моря, куда почти не проникал солнечный свет. Там во мраке мерцала гранитная мостовая привокзальной площади, давно уже опустевшей, после того как по ней прошагали сапоги победителей, прокатились колеса походных кухонь и рассеялся табачный дым фарфоровых курительных трубок с черешневыми чубуками и кисточками.

Мы никогда не узнаем, кто был тот молодой человек с темным лицом, который снился спящему под именем Манфреда. Может, он был демобилизованный мичман гвардейского экипажа, бежавший от матросов из Кронштадта в штат-

ском платье и каким-то образом оказавшийся на юге, в городе трех маяков, в компании на яхте.

Он всегда появлялся неожиданно и так же неожиданно исчезал. Где он жил – неизвестно. Вероятно, в каком-нибудь общежитии бывших офицеров.

Он не носил галстука. В повороте его головы, в белой аристократической шее девушки находили нечто байроническое.

Девушек было несколько, все в цветных шелковых платочках, завязанных на голове. Среди них снились две сестры и одна их подруга, случайно попавшая в компанию.

Впрочем, в компанию все попали случайно. Она все время сидела в маленькой каюте на узком кожаном диванчике и делала себе маникюр: натирала ногти розовым камнем, а потом до зеркального блеска шлифовала замшевой подушечкой. При этом она говорила, что если яхта потерпит аварию и все они утонут, то по ее ногтям люди узнают, что перед ними труп элегантной утопленницы из хорошего общества.

Добрый малый Вася, сидевший за рулем, повернул яхту еще круче в открытое море, и на дальнем берегу открылся второй маяк, старый, уже не работающий, – остатки каменной башни. А через некоторое время показался третий маяк, новый, белоснежный, металлический, как бы в рыцарском шлеме с опущенным забралом, состоящим из хрустальных

рубчатых линз, откуда по ночам в былые времена вырывались два резких луча электрического гелиотропового света – один строго-строго горизонтальный, а другой строго вертикальный, упирающийся в звездное небо мирного времени.

Гик грота перешел справа налево под ветер, и парус надулся еще круче. Маленький ялик, так называемый тузик, привязанный за кормой, запрыгал по волнам, как ореховая скорлупа.

Вася был сыном миллионера – бывшего, а впрочем, кто его знает, может быть, и будущего. Незадолго до войны он выписал из Англии, из Гринвича, небольшую яхту и подарил ее сыну. Теперь эта яхта, в сущности, была единственное, что осталось от прежних миллионов. Так что Васина невеста Нелли, старшая из двух сестер, дочерей бывшего прокурора палаты по гражданским делам, осталась ни при чем, хотя и продолжала надеяться на лучшие времена и возвращение Васиных миллионов.

Что касается самого прокурора, то он почти что остался не у дел. Все жители города трех маяков остались не у дел.

В городе царило божественное безделье, как говорилось по-итальянски, «дольче фар ниенте».

А как жили?

Жили прекрасно, продавая фамильные драгоценности и домашние вещи, которые охотно обменивались пригородными крестьянами на муку, масло и свиное сало. Каждое утро пригородные крестьяне приезжали на привоз, а иногда попросту заворачивали со своими подводами и бричками во двory, где шла меновая торговля. Драгоценности же – изделия Фаберже, бриллианты, сапфиры, высокопробное золото – по дешевке скупались таинственными ювелирами. Несметные богатства время от времени переправлялись за границу.

О том, что случится завтра, никто не думал. Мечтали, что так будет продолжаться вечно. Конечно, это было приятное заблуждение. Приятному заблуждению поддался даже сам прокурор, которому, в сущности, нечего было делать: некого судить. И он по целым дням шлепал в своем домашнем шлафроке и в разношенных туфлях по квартире из комнаты в комнату.

...Густые поседевшие усы, столь же традиционно густые прокурорские брови, истощенное бездельем лицо оливкового цвета и на носу пенсне, верой и правдой служившее ему при рассмотрении судебных дел. Теперь оно служило ему при рассматривании через биоскоп двойных картинок швейцарских видов с Шильонским замком и двойными парусами над Женевским озером. Через это же пенсне прокурор любил рассматривать журнал «Нива» за 1897 год с портретами адмиралов, генералов, сенаторов и архиереев...

Что же касается прокурорши, то она была милая, совсем седая, серебряная, маленькая, худенькая старушка, соблюдавшая в доме дореволюционный порядок: завтрак, обед, пятичасовой чай, фэйф-о-клок, и вечером горячий ужин с рублеными котлетами

Кухарка и горничная давно уже сгинули, увлеченные матросами с посыльного судна «Алмаз», так что прокурорше приходилось все делать самой, в том числе ходить на базар менять вещи на продукты питания. Вещей для обмена оставалось все меньше, хотя еще вполне достаточно. С этим дело обстояло благополучно, если не считать огорчений, причиняемых ей непониманием приезжими крестьянами истинной ценности обмениваемых предметов.

Крестьяне, а особенно крестьянки, сидя на возу и прикрывая юбками привезенные продукты, рассматривали какую-нибудь воздушную батистовую шемизетку времен конца девятнадцатого века и совершенно не обращали внимание ни на фасон, ни на отделку, а только придиричиво рассматривали ткань на свет, считая, что чем плотнее материал, тем лучше, причем с пренебрежением говорили: «Це реденько!»

Но что было с них взять! Простота! Народ!

Лучше всего шли простыни, а их накопилось за всю жизнь – уйма, так что на ужин всегда подавались котлеты.

Спящий особенно отчетливо видел проплывающее блюдо горячих котлет, посыпанных укропом – таким кружевным, таким зеленым, какой может присниться только в цветном сне.

Вечерние котлеты особенно привлекали молодую компанию после длительной морской прогулки на яхте. Впрочем, не только котлеты и крепко заваренный, почти красный чай с сахаром. Красавица Нелли и ее младшая сестра Маша могли поспорить с котлетами.

Нелли пела романсы, а Маша аккомпанировала ей. Царили Рахманинов, Гречанинов и этот, как его? – снова забываю его фамилию. Да. Черепнин.

«Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидит месяц... В небе звездочка скатилась...»

Или нечто подобное.

Оно и сейчас звучало во сне.

У Нелли было сильное, хотя еще не отработанное, домашнее, меццо-сопрано. Ее прелестный голос как бы ударялся в поднятую черную лакированную крышку еще не проданного рояля, наполняя комнату чудными звуками, которые улетали через открытые окна сначала в небольшой внутренний дворик, потом на улицу, на перекресток, на бульвар и затихали где-то на загородном шоссе, там, где стояла давно уже непо-

движная зеленая паровая трамбовка с трубой, как у паровоза, и асфальтово-серым передним трамбовочным колесом.

А голос все звучал, звучал: «...в саду малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы...»

Спящий плакал во сне от счастья и видел загородное шоссе с зеленой трамбовкой, кучками щебенки и двух девушек – красавицу Нелли и ее сестру Машу, которые шли на теннисную площадку, держа в руках ракетки. Они были одинаково одеты в летние спортивные костюмы – эпонжевые жакетки и английские юбки, тоже эпонжевые, шершаво-белые. Старшая – красавица с блестящими черными волосами, гладко причесанными на прямой ряд, с испанским черепаховым гребешком на затылке, придававшим ей нечто царственное, с удлиненным лицом, как говорится, цвета слоновой кости и с бровями, не вызывавшими сомнения, что она родная дочь прокурора. А младшая, считавшаяся дурнушкой, небольшая, еще не вполне выросшая, почти девочка, вся выдалась в прокуроршу: те же ласковые телячьи глаза, легкие белокурые волосы, доброта, разлившаяся по всему ее нежному лицу, с родинкой на шее пониже уха, вся светящаяся молочной белизной, с ресницами, бросавшими тень на крылья некрасивого, но ужасно симпатичного носика, и незаконченность во всех движениях.

Старшая шла уверенно, слегка поигрывая ракеткой с мар-

кой «Дэвис», стеклянно блестящей на солнце, а на полшага сзади нее шел ее жених, владелец яхты Вася, коренастый, только что успевший окончить гимназию, еще в гимназической куртке, хотя и без пояса, и было что-то исконно русское, даже, может быть, крестьянское, если не купеческое, в его походке, в его русых волосах, аккуратно постриженных. Из таких пареньков некогда рождались русские миллионеры. Он боготворил свою невесту и назвал ее именем яхту: «Нелли».

Как счастливый невольник, он нес за своей госпожой сачок с шершавыми теннисными мячами.

И в это же время откуда ни возьмись появился еще один юноша, с загорелым цыганским лицом и жесткими темными волосами, – Васин товарищ по гимназии. Это был я.

Мимо меня как-то незаметно прошла красота старшей, но с первого взгляда до самого сердца дошла прелесть младшей. Я еще не понял, что уже влюблен, но мне уже хотелось идти рядом с младшей, болтать всякий вздор и читать стихи Фета.

Спящий видел на шоссе две парочки, идущие к теннисным кортам.

Но когда все это было? Весной? Летом? Осенью? Во всяком случае, не зимой.

Во сне все времена года происходили одновременно.

Чудо совместимости.

Кажется, было грифельно-темное, почти черное небо, обещавшее майскую грозу, томительно назревавшую, как первая любовь. На фоне грозового неба отчетливо рисовались крупные почки конских каштанов, как бы вымазанные столярным клеем, готовые вот-вот лопнуть, -...вот они уже лопнули – и выпустили на волю еще бессильно повисшие, как тряпки, новорожденные пятипалые волосатые листья с крошечными восковыми елочками еще не родившихся соцветий.

Каштаны уже распустились и даже бросали тень. В то же время светилось акварельное осеннее небо с треугольником журавлей над кострами листопада, а ночью серебрилось звездное небо, отраженное в заливе, и, как это ни странно, степная вечерняя заря угасала над белокаменной стеной монастыря и над полуразрушенной башней старого маяка, а в монастыре звонили к вечерне -...вечерний звон, вечерний звон... – и над обрывом в монастырском саду буйно цвела майская сирень, которую мы ломали, а потом с громадными темно-лилово-сине-голубыми букетами возвращались на трамвае в город, с тем чтобы, едва дождавшись рассвета, отправиться по улицам еще по-ночному безлюдного города в порт, где возле причала покачивалась яхта. А вечером опять в столовую вошла из кухни прокурорша с блюдом, и вся компания навалилась на котлеты.

Компания представлялась спящему чем-то единым, плохо разборчивым, кроме нескольких знакомых лиц. Остальные были просто каким-то сборищем случайно сблизившихся молодых людей, которые даже не вполне хорошо знали друг друга.

Иные из них возникали неожиданно и были безличны. Иные вовсе не появились, а потом опять вдруг начинали один за другим появляться, и все это было в духе того странного времени беспечности и свободы.

После котлет красавица Нелли снова пела. У нее были холодные глаза. А Вася стоял рядом с раскрытым роялем и с обожанием смотрел на свою нареченную.

Потом младшая сестра вышла из душевой комнаты на балкон и положила на железные перила руки, уставшие от клавишей. За нею как намагниченный вышел на балкон и я. Маша и я стояли рядом как бы висящие над колодцем двора, положив руки на перила, и молча смотрели на зеленое вечернее небо, уже почти ночное, с первыми звездами над черепичными крышами.

Преодолевая несвойственную робость, я очень медленно, почти незаметно придвинул по железным перилам свою руку к Машинной руке. Я думал, что она отодвинет свою руку, но она не отодвинула. Ее мизинчик вздрогнул, но не отодвинулся. Может быть, даже еще ближе придвинулся. Тогда я как бы случайно, бессознательно положил свою ладонь на Ма-

шину руку, прижатую к перилам. Маша стояла неподвижно, как будто бы ничего не произошло особенного, но я чувствовал, что сердце ее бьется, а рука, покрытая моей ладонью, притаилась и замерла, как небольшая птица, например голубь, и так продолжалось довольно долго в полуобморочном безмолвии сновидения. Это могло бы продолжаться вечно, если бы не настала пора расстаться: не стоять же всю ночь на балконе в чужом доме.

На другой день, все еще не говоря друг другу ни слова о любви, мы вдвоем сидели в ее комнатке, где на письменном столике были аккуратно разложены прошлогодние гимназические учебники и откуда-то вдруг появились два небольших зеркала, поставленных друг против друга, а между ними горела стеариновая свеча.

Что это было? Физический опыт или сон во сне?

Меж двух зеркал острей кинжала язык свечи. Сбегаются струйками в зеркала ее лучи. Глаза зеркал глядят друг в друга, как два лица. Одна свеча над бездной млечной белым-бела. И, озаренной, бесконечной, ей нет числа.

Очарованные, мы заглядывали в этот зеркальный, бесконечно уходящий в вечность зеркальный коридор взаимных отражений.

Спящий пребывал в перспективе этого бесконечного зеркального коридора, и сон его стал еще более глубок, чем

прежде, но ненадолго.

В природе что-то изменилось. Может быть, прошла ночная гроза, которую он не услышал.

Малахитовые волны почернели. Пена на них стала еще белее. Тень Манфреда упала на далекое побережье, где назревал шквал.

Яхта уже ушла далеко в открытое море, и Вася переложил руль вправо, желая поскорее, пока не поздно, изменить галс. Это был поворот оверштаг. Грот и кливер на некоторое время перестали ловить ветер, затрепетали и безжизненно повисли, но почти в тот же миг гик грота медленно и тяжело перешел справа налево, едва не ударив по голове Леньку Грека, крепившего шкот вырвавшегося из рук кливера. Паруса уже ловили ветер, как бы подувший с другой стороны.

Яхта уходила от шквала, который уже покрывал море черной дробью своих порывов. Черная дробь шквала догоняла яхту, ставшую глубоко нырять в рассерженных волнах. Ореховая скорлупка маленького тузика как бешеная запрыгала за кормой, стараясь сорваться с привязи.

«Облака бегут над морем, крепнет ветер, зыбь черней, будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней», – пел Манфред своим сильным голосом, стараясь перекрычать шум шквала.

Конечно, он не был Манфредом. Это было всего лишь его прозвище. Как было его настоящее имя, никто не знал. И это

беспокоило спящего.

Манфред стоял во весь рост, расставив ноги на качающейся палубе, и не спускал слишком светлых влюбленных глаз с Нелли. Она сидела на палубе возле спуска в каюту, обхватив колени руками и положив на них подбородок.

Между Нелли и Манфредом что-то происходило. Какой-то молчаливый спор, в котором Нелли уже готова была сдаться.

Шквалистый ветер порывами клал яхту на бок. Если бы не ее киль со свинцовой сигарой на конце, служившей противовесом всему волшебному инструменту яхты, то яхта, конечно, легла бы плашмя всеми своими парусами на волны – как бабочка, неосторожно попавшая в бассейн.

Яхта звенела под ветром, как мандолина.

Небо стало совсем черное. Всех охватил страх. Девушки вскрикивали, как чайки. Чайки носились над яхтой – белые на черном фоне. Кто-то кинулся в каюту. Кто-то лег плашмя на палубу, схватившись руками за медные утки с намотанными концами шкотов. Кто-то прижался к мачте.

Я обнял Машу за плечи, и ее яркий шелковый платок вдруг развязался и улетел в море, обнажив растрепавшиеся льняные легкие волосы. На ее щеках блестели, как слезы, капли морской воды, даже на вид горько-соленые.

Яркий платок еще некоторое время летал над волнами,

как бы желая унести за черный горизонт, пока не скрылся из глаз, поглощенный грозовой тучей.

Только Манфред и Нелли оставались спокойными, неподвижными, и в их неподвижности было нечто зловещее. Они были как Демон и Тамара. Если бы кто-нибудь обратил на них внимание, то понял бы, что в этот миг решается их судьба.

Добрый милый Вася всем своим крепким телом налег на румпель, изо всех сил заставляя яхту повернуть к берегу, до которого было не так-то близко.

Дельфины, спутники шторма, сопровождали яхту. Их черные горбатые спины то и дело показывались из волн и снова погружались в недра разгневанного моря. Спинные треугольные плавники выскакивали из пены и снова исчезали, не успев поймать отражения далеких молний.

Казалось, неминуемая гибель грозит яхте.

Но Вася, одной рукой навалившись на румпель, а другой изо всех сил сдерживая вырывающийся шкот грота, с лицом, покрытым потом и морскими брызгами, все-таки сумел довести яхту до берега и поставить ее в дрейф в маленькой бухточке, где царило затишье.

Ленька Грек швырнул якорь в воду. Яхта остановилась, кружа возле якорной цепи, вертикально ушедшей в глубину.

Вася вместе с Ленькой Греком, оба мокрые с головы до ног, убрали грот и кливер, после чего стали перевозить на тузике, на веслах, всю компанию – по двое, по трое зараз – к прибрежным скалам, обросшим тиной и мидиями.

За грядой скал открылась прелестная картина: берег и камышовый рабочий курень, утонувший в зарослях диких трав, пряный запах которых доносился до белой полосы прибоа... и сети, развешанные для сушки на скрещенных веслах, врытых в глину.

Рыбацкая шаланда, вытащенная на берег, лежала вверх плоским просмоленным днищем, на котором сидели рыбаки, наблюдая за тузиком, перевозившим нашу компанию с яхты на берег.

Под высоким рыжим глинистым обрывом со светлыми дождевыми потеками царила божественная тишина.

Пахло дикими травами.

Босоногие рыбаки с засученными штанинами оказались людьми гостеприимными, и вскоре затрещал костер, сложенный из щепок и камыша, выброшенных прибоем и высушенных на солнце.

В чайнике закипела вода, в которую тут же была брошена заварка: горсть трав и диких цветов, собранных еще в мае. Запах мяты и еще чего-то ромашкового распространился в воздухе, смешиваясь с йодистым запахом водорослей.

Прекрасная заварка, ничем не хуже, а может быть, даже лучше, во всяком случае полезнее китайского чая фирмы «Высоцкий и К^о».

Сушившаяся возле костра компания с наслаждением пила лекарственный напиток, обжигая губы и пальцы о жестяные кружки, сделанные из консервных банок. Сахара, конечно, не было. Но это и не требовалось. Чай, настоящий на диких травах, обладал свойством возбуждать воображение: небольшой кусочек прибрежной земли, с одной стороны отгороженный от остального мира высоким обрывом, а с другой – утихающим шквалом, представлялся чем-то подобным блаженной стране, где «не темнеют небосводы, не проходит тишина».

Камышовый курень, костер, запах душистого чая, дымок махорки, которую покуривали рыбаки, добрые друзья – что еще надо человеку для счастья?

Райское местечко, что-то вроде модели того странного мира, в котором мы жили, отгороженные от всего остального, бушующего где-то вокруг мирового пожара. Чудо тайфуна или циклона, в центре которого образуется труба неподвижного воздуха, ласкового солнца, ясного неба, любви, дружбы, безделья, полной свободы. А рядом взволнованное море, из которого выскакивают дельфины с человеческими глазами, а над ними носятся буреветники и чайки, и в темных глубинах моря извиваются осьминоги тоже с человеческими

глазами, проплывают тени субмарин, и у скал, как гейзеры, взрываются сорванные с якорей мины – остатки минувшей войны.

Но все это как бы не имело отношения к тишайшему миру, в котором не жили, а всего лишь временно существовали жители нашего города трех маяков, его окрестные деревни и хутора.

Вскоре мы простились с гостеприимными рыбаками, и наша яхта отправилась в обратный путь. Волны улеглись, пошла гладкая мертвая зыбь. Вечерний бриз мягко надувал грот и кливер. Все опасности остались позади. Дельфины уже не сопровождали нас. Можно было подумать, что больше ничего опасного не происходит.

Но спящий испытывал тревогу, как будто бы в глубине сна проник в какую-то чужую опасную тайну, грозящую неизбежной бедой.

Так оно и было.

Он бессознательно проник в тайну Манфреда и Нелли, в их душевную связь, в их молчаливый диалог, который начался уже давно.

Невозможно было предсказать, когда уйдет циклон. И нужно ли было, чтобы он ушел?

Трудно было себе представить иную жизнь. Впрочем, никто не думал о будущем. Один лишь Манфред со своими плотно сжатыми губами страстно мечтал о чем-то другом, о какой-то воистину блаженной стране, куда «выносят волны только сильного душой». Он считал себя сильным душой. Он давно уже тайно звал Нелли в ту страну, куда он ее повезет и где они оба будут богаты и счастливы. Он был уверен, что за морем есть «та, другая», блаженная страна, куда время от времени уходят из города трех маяков пароходы, увозя богачей, спасающихся от надвигающейся с севера бури. Они увозят туда свои сокровища, свои жизни, свои мечты.

Манфред был сам из семейства богачей – наследником громадного имения в Смоленской губернии, столбовой дворянин, офицер флота, а может быть, и всего лишь гардемарин гвардейского экипажа. Но все это осталось позади, в невозвратимом прошлом. Все надо было начинать сначала.

Он стоял, скрестивши на груди руки, прислонясь к мачте, верхушка которой скользила по розовым вечерним облакам, как бы написанным итальянским пейзажистом. Можно было представить себе Манфреда не в потертом штатском костюме, а в морской форме, с кортиком, выглядывающим из-под мундира с золотыми погонами.

Таким его представляла себе Нелли.

Манфред влюбился в нее с первого взгляда, но был осторожен. Она поняла это сразу и вдруг посмотрела на своего

жениха Васю совсем другими глазами. Когда она успела договориться с Манфредом? Никто этого не знал, даже не подозревал. Женщины это хорошо умеют делать.

Он обещал ей райскую жизнь в Италии. Уроки пения. Ей поставят голос. Дебют в театре Ла Скала. Мировая слава. Любовь до гроба. Богатство. Счастье. Но для начала всего этого нужны были большие деньги. Он поклялся их достать любой ценой. Он говорил, что это не так уж и трудно в городе, где промышляют скупщики бриллиантов. Нужно только договориться кое с кем и сделать кое-что.

Яхта приближалась к портовому маяку. Солнце зашло, кануло в розовую пыль новороссийской степи, скрылось за скифскими курганами. Закатный свет мерк. Звездная ночь поднималась с востока. Красный глаз маяка вращался впереди. Он то гас, то вспыхивал через ровные промежутки времени. Когда он вспыхивал, у подножия его в гладких складках мертвой зыби извивалась светящаяся красная змея – отражение рубинового глаза господина Маяка.

Яхта вошла в порт. Путешествие закончилось. Паруса были убраны. Голая мачта покачивалась у причала, едва ли не задевая верхушкой дубль-вэ Кассиопеи.

Однако на этот раз Ленька Грек и Манфред не присоединились к компании, весело идущей есть котлеты и пить крепкий чай с сахаром. Не выходя из порта, их тени растворились в вечерней темноте, в неверном свете портовых фонарей. А потом к ним присоединился еще кто-то, третья тень. И они

исчезли. Но на это никто не обратил внимания. Каждый поступал по своему желанию, не давал отчета в своих поступках: полная свобода!

Впрочем, может быть, эта мнимая свобода была только плодом воображения, неспособного видеть истину.

Воображение казалось могущественнее действительности. А может быть, действительность подчинялась воображению спящего, который в эти глубокие ночные часы был в одно и то же время самим собой, и всеми нами, и яхтой, и мигающим маяком, и созвездием Кассиопеи, и мною.

Я лежал в полосатых купальных штанишках на горячей гальке так называемого австрийского пляжа. Рядом со мной лежала Маша. Между нами все было сказано. Слова уже не имели значения.

Девушка-подросток в мокром купальнике, высыхающем на жгучем полуденном солнце, лежала на махровой простыне лицом вверх, с полузакрытыми глазами, с полуулыбкой на мягких губах, отдаваясь лучам солнца. На ее голых ногах с короткими пальчиками высыхал крупный морской песок, похожий на перловую крупу. Мы лежали несколько поодаль друг от друга, на расстоянии наших протянутых рук, едва касавшихся друг друга. Эти легкие, неощутимые касания как бы вливали в нас тепло молодой крови. Это уже была телесная близость, заставлявшая нас замирать от смущен я.

Я искоса смотрел на ее почти прозрачные, просвеченные солнцем малиновые уши под белокурыми прядями волос,

выбивавшихся из-под купального чепчика. На ее сливочно-белой, не поддающейся загару руке блестел небольшой золотой браслетик в виде цепочки – последняя оставшаяся у нее драгоценность. Она сняла его с запястья и положила в мою протянутую руку, как бы отдавая мне всю себя.

Я подбросил золотой комочек на ладони и вернул его в ее протянутую руку, как бы в свою очередь отдавая ей всего себя.

Она опять бросила мне браслетик, и я снова подбросил его на ладони и снова вернул ей.

Это было похоже на какую-то детскую игру.

Золотой комочек передавал от нее ко мне и от меня к ней жар молчаливой, целомудренной, но жгучей любви.

Мы улыбались друг другу.

А вокруг кипела пляжная жизнь. Неторопливо колыхались мутноватые прибрежные волны, лениво ложась на кромку пляжа, где высыхала на солнце каемка тины, выброшенной прибоем. Море было чем дальше к горизонту, тем синее, но возле берега вода была мутной от взбаламученной глины, похожей на суп, заправленный сметаной. На волнах покачивались плоскодонные шаланды, выкрашенные в разные цвета. Они проезжали туда и обратно вдоль берега, где

пестрели купальные чепчики, полотенца, бутылки с водой, зарытые в песок. Голые мальчики из предместий, с животами, крепко перевязанными тряпками, с разбегу бросались в воду. Женщины, надув рубахи пузырем, плавали по-собачьи, болтая руками и ногами. Раздавался булькающий смех и восклицания, звучавшие в нагретом воздухе особенно резко, почти как хищные крики чаек.

Кто-то пришел купаться, неся с собой два надутых бычьих пузыря, скрепленных веревочкой.

Мутные, полупрозрачные пузыри заменяли дорогостоящие пробковые спасательные пояса. На таких пузырях обычно плавали старухи и маленькие дети, выплевывая изо рта соленую воду.

Кто-то ухватился загоревшими руками за корму проплывавшей шаланды, где стоя греб веслами голый по пояс весельчак с волосатой грудью. Его голова была обвязана цветной тряпкой, как у пирата.

Голые маленькие дети ползали по мокрому песку вдоль кромки прибоя, строя города и проводя каналы, где суетились в воде крошечные морские блошки.

Несколько австрийских солдат пришли на пляж купаться. Они сбросили на гальку свои серо-зеленые мундиры, пропотевшие под мышками, и добротные короткие сапоги с двумя толстыми швами на голенищах. Они аккуратно уложили сверх своей снятой одежды брезентовые пояса с цинковыми

пряжками.

Они держали себя скромно и довольно вежливо для победителей, не затрагивали купальщиц и, осторожно иступив по пояс в воду, мылили подмышки казенным мылом. Они тоже находились в состоянии блаженства, не предчувствуя, что через некоторое время их райская жизнь победителей кончится и они принуждены будут сломя голову вместе с немецкими солдатами бежать из завоеванной стороны, где им так прекрасно жилось под властью какого-то странного украинского гетмана, посаженного на престол немецким генеральным штабом, разогнанным революцией.

Спящий видел их бегство по степи под холодным осенним дождем. Они бежали, бросая по дороге зарядные ящики, пушки и походные кухни, и штурмовали на станциях поезда, уходившие на запад, «нах фатерланд».

Тень чайки пронеслась по пляжу.

– Что же все-таки в конце концов с нами будет? – сказала она, не размыкая век, опущенных светлыми ресницами, за которыми угадывалась млечная телячья голубизна.

– А ничего не будет, – с бесшабашной улыбкой сказал я.

– Почему?

– Потому что мы нищие духом. Мы блаженные.

– Да, мы блаженные, – сказала она, вздохнув.

– Мы только кому-то снимся, – сказал я.

– Да, мы только снимся, – сказала она.

– На самом деле нас нет, – сказал я.

– На самом деле... – сказала она.

Мы лежали под жгучими лучами солнца, слушая крики купальщиков, и визги купальщиц, и шлепанье по воде весел, и басовые гудки пароходов, увозящих кого-то куда-то вместе с их сокровищами, тех, для кого не существовало ни родины, ни прошлого, ни будущего, а только настоящее, длительное, как бесконечное сновидение.

А в то самое время, когда по пляжу пролетали тени чаек и австрийцы мылили себе головы казенным мылом, напуская вокруг себя в воду серую пену, в то самое время, а может быть, позже или раньше в центре знакомого и незнакомого города происходило нечто ужасное, отчего спящий тяжело стонал, обливаясь потом, и сердце его сжималось и трепетало.

...Три человека стояли на площадке маленькой мраморной лестницы, ведущей с тротуара к дверям углового входа в магазин резиновой мануфактуры, над которым висела большая рекламная калоша с красным фирменным клеймом. Все трое были прижаты толпой к тяжелой входной двери магазина, но не могли в нее вбежать, так как она была крепко

заперта изнутри на замок. Им не повезло. Случайно запертая дверь их погубила. Если бы дверь не была заперта, они еще могли бы спастись: пройти через магазин и через заднюю дверь выбежать во двор, а оттуда как-нибудь скрыться от толпы через вторые ворота, выходящие в переулок. Но дверь, к которой они были прижаты, была намертво заперта. Может быть, это был обеденный перерыв.

Им некуда было деваться.

Все трое были окружены густой черной толпой, которая с каждой минутой все увеличивалась и уже вселяла ужас.

– Что такое? Что случилось? – спрашивали прохожие, присоединяясь к толпе возле углового дома резиновой мануфактуры на перекрестке двух знакомых и незнакомых улиц.

– Поймали налетчиков, ворвавшихся в квартиру хозяина ювелирного магазина. Они унесли в несгораемой шкатулке на миллион бриллиантов.

Несгораемая шкатулка из числа тех, что сверху выкрашены коричневой краской под дуб, а внутри красной краской, стояла в ногах у налетчиков, как бы излучая из себя снопы бриллиантовых лучей. С двух сторон уже бежали, расталкивая толпу, чины гетманской Державной Варты и агенты уголовного розыска.

Налетчики возвышались над ревущей толпой, размахивая оружием.

Спящему были знакомы два налетчика. Третий не был Маком. Он впервые появился в сновидении.

Ленька Грек держал в руках направленную в толпу трехлинейную винтовку казенного образца с отпиленным до половины стволом, так называемый обрез. Манфред, высокий, с непокрытой головой и разлетающимися волосами, стройный, как гранитная статуя, держал в поднятой руке тяжелый американский полуавтоматический пистолет из числа тех, которые в конце войны поступили из-за океана на вооружение офицеров армии и флота, – десятизарядный кольт, в рукоятку которого была вставлена обойма с толстенькими патронами. Третий налетчик, сов-

сем незнакомый, в застиранной летней солдатской гимнастерке, без пояса и погон, – дезертир из бывшего запасного батальона – размахивал ручной гранатой-лимонкой, и это удерживало толпу на некотором расстоянии.

Противостояние трех против разъяренной толпы продолжалось невероятно долго: может быть, час, может быть, два или три, и если не все сутки, и это неестественно неподвижное противостояние смерти против смерти, свойственное бесконечно длительному сновидению, изнуряло спящего невозможностью проснуться.

...Солдат-дезертир размахнулся и швырнул лимонку в толпу. Лимонка не разорвалась. В ту же минуту чины Державной Варты и агенты уголовного розыска с разных

сторон открыли огонь по налетчикам и убили всех троих наповал. При налетчиках никаких документов не оказалось, и их, неопознанных, отвезли на грузовике в морг. Они были покрыты брезентом и подпрыгивали на поворотах. Из-под брезента высунулась голова Манфреда: растрепавшиеся волосы и открытые остекленевшие глаза, полные ненависти и страсти.

Перекресток странного города опустел, и цветочницы опять расставили на перекрестке двух самых нарядных улиц свои зеленые табуретки с ведрами и синими эмалированными мисками, где плавали розы, мучившие спящего своей невероятной красотой и яркостью, способной убить его во сне, если бы длинная морская волна, гладкая и прохладная, не успокоила спящего.

...Он снова увидел яхту, обходящую известково-белую башню портового маяка.

Яхта вышла в открытое море. Погода была чудесная. То, что на очередную морскую прогулку не явились Ленка Грек и Манфред, никого не удивило. Все привыкли к неограниченной свободе поступков: не захотели и не пришли. Одна только Нелли была неприятно удивлена отсутствием Ман-

фреда. Впрочем, она ничего другого от него и не ждала: обыкновенный фат, фразер и хвастун, не привыкший держать слово. Относительно Италии и Ла Скала, богатства и всемирной славы – были пустые слова. Он просто ее обманул и скрылся. Тем лучше. Ее Вася был куда более надежен. Она его почти любила.

Она сидела рядом с ним на корме. Одной рукой он бережно обнимал ее за плечи, а другой рукой держал румпель, все дальше и дальше уводя яхту в открытое море, на горизонте дымили уходящие пароходы.

Остальная компания вела себя обычно, наслаждаясь дыханием легкого бриза и божественной свободой. У всех на лицах, как всегда, блестели капли морской воды, и это было приятно. Особенно мне и Маше.

И, как всегда, одна из девушек, имя которой спящий не знал, сидела в каюте на узком кожаном диванчике и полировала ногти.

1984

21 августа. Переделкино